

А. Н. Сѣровъ.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

(1864—1870 гг.)

1860
Сер. IV

2975.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Главнаго Управлінія Удѣловъ, Моховая, № 40.
1895.

Mus 5132. (ed. Sp '71)

~~time 5/12/1971~~

• HARVARD UNIVERSITY

JAN 5 1971

EDA KUHN LUED MUSICAL LIBRARY

T
B
C
D
E
B
T
R
G
H
F
D
S
C
H

„Фаустъ“ опера Гуно, на петербургской итальянской сценѣ *).



Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a de plus rare au monde ce sont des diamants et les perles.

Labrujère.

еликая драматическая поэма великаго Гёте великое множество разъ была избираема сюжетомъ для музыкальныхъ произведеній, не смотря на положительную *немузикальность главной идеи* Гётева Фауста. Глубокость и разнообразие драматическихъ задачъ, щедро разсыпанныхъ въ твореніи Гёте, въ свою очередь воспользовавшагося богатыми материалами нѣмецкой легенды о чернокнижникѣ Фаустѣ,—привлекала фантазію почти всѣхъ знаменныхъ музыкантовъ гётевскаго и послѣ - гётевского времени. Увѣряютъ, что и великій современникъ Гёте, Бетховенъ задумывалъ симфоническую музыку на сюжетъ «Фауста».—Если же этому извѣстію, сообщаемому Бетховенскими біографами и не давать еще полной вѣры, и съ другой стороны—вовсе не считать чѣмъ-нибудь дѣльнымъ безчисленныхъ музыкъ къ Фаусту, сфабрикованныхъ по мѣрѣ надобности дюжинными капельмейстерами, все же свидѣтельствомъ сильного вліянія Гётева созданія на музыкантовъ-мыслителей позднѣйшаго периода останутся партитуры: Берліоза—la Damnation de Faust, 16-gende dramatique,—Вагнера: Eine Faust-Ouvertüre,—Листа: Faust,—симфонія въ трехъ частяхъ (Фаустъ самъ—Гретхенъ—Мефистофель),—Шумана: Faust-Musik, (oeuvre posthum: омузыкаленные отрывки и цѣлыя сцены изъ первой и изъ второй части Гётевой поэмы). Положительно лучшее изъ всего этого—колossalное въ размахѣ, симфоническое вдохновеніе Вагнера на нѣсколько строкъ изъ отвѣта Фауста Мефистофелю, въ одной изъ первыхъ сценъ поэмы. Шуманова музыка, при всѣхъ красотахъ, произведеніе неудачное;—

*) Якорь, 1864, № 2 и 3.

симфонія Листа еще подъ сомнѣніемъ, какъ все его «творчество»,—Берліозъ, какъ французъ, уѣхалъ за вѣнчаніе эффекты, на которыхъ могъ бы дать разгуляться своему гигантскому оркестровому таланту и, какъ французъ, конечно, ушелъ совсѣмъ въ сторону отъ великихъ психологическихъ картинъ германскаго поэта, исказивъ даже и самую легенду своимъ безтолковымъ текстомъ.

Но и берліозово произведеніе, не смотря на свою нескладность въ общемъ, разрозненность и дикую пестроту музыкальныхъ картинъ, все еще обращается съ главной задачей, т. е. съ характерами Фауста, Маргариты и Мефистофеля довольно честно, а потому и не можетъ быть отнесено къ «профанаціямъ» знаменитой поэмы «Фаусть».

Кстати о профанаціяхъ! Покушенія сдѣлать изъ Фауста сюжетъ даже для балета (!) могли-бы явиться удачными, еслибы какъ можно ближе держались «сатирической» программы балета, гениально набросанной Гейнрихомъ Гейне: Faust, ein Tanz-poem. Въ озлобленіи своемъ противъ тупаго идолопоклонства передъ Гёте, въ озлобленіи и противъ непозволительно-плоскихъ, мишурунныхъ эффектовъ, на которыхъ зиждется искусство (!) намъ современной хореографіи, Гейне создалъ вѣчно крайне занимательное и, въ своемъ «ироническомъ» родѣ—образцовое. Его балетная программа такъ богата фантазіей, что неисполнима только съ той стороны, главнѣйше, что такой балетъ требуетъ гениальной балетной музыки,—а высоко-даровитый музыкантъ не станетъ тратить ни силъ, ни времени на громадную партитуру, которая, въ сущности, должна остаться не болѣе, какъ широко задуманной—шуткой.

Другіе же балеты изъ Фауста—не по Гейневской программѣ, должны быть отнесены къ самымъ постыднымъ профанаціямъ серьезнѣйшаго изъ сюжетовъ. Докторъ Фаусть—танцующій! Гретхенъ въ коротенькой балетной юбочкѣ съ кринолиномъ!...

Фаусть, Гретхенъ и Мефистофель въ pas de trois съ пируэтами, battements et entrechats!...

Почему-жъ тогда не сдѣлать еще балетовъ изъ Короля Лира, изъ Макбета и Гамлета?! Право, очень милыя канвы для гг. балетмейстеровъ. Обратимся снова къ дѣлу.

Всѣ музыки къ «Фаусту» или на «Фауста», о которыхъ мы только что говорили, или вовсе не имѣютъ въ виду «сцену», театральное представление, т. е.—остаются чисто симфоническими—для концертной залы, или сопровождаются только представление самой драмы (какъ Бетховенова музыка къ Эгмонту, Мендельсонова въ Шекспировой пьесѣ: «Сонъ въ лѣтнюю ночь»). Взглянемъ теперь можетъ ли Гётеева драма быть осуществлена на сценѣ оперной?

При выборѣ задачи для музыкальной драмы, какъ мы ее теперь понимать должны (послѣ Вагнера), что должно быть на первомъ планѣ? Слѣдующій вопросъ: принадлежитъ-ли психическая жизнь главныхъ дѣйствующихъ лицъ къ той области драматическихъ движений, которые могутъ найти для себя пол-

ное удовлетворительное выражение въ мірѣ музыкальныхъ звуковъ въ соединеніи съ рѣчью, или иначе: могутъ ли главные моменты драмы быть выражены *тыніемъ*, т. е. голосомъ души въ ея *страстныхъ* порывахъ? Если нѣтъ, то драма положительно не музыкальна (какъ напр. Шекспировы — Ричардъ III, Макбетъ).

Изъ главныхъ трехъ дѣятелей въ первой части Гётевой поэмы, вполнѣ музыкально только одно лицо — *Гретхенъ*. Все, что она говоритъ сама съ собой или съ другими — богатая канва для музыки. Тутъ вездѣ — душа, волнуемая, колеблемая чисто-женственными эффектами вездѣ — следовательно, пѣніе болѣе или менѣе ясное.

Самъ Фаустъ въ сценахъ съ Гретхенъ, «большею частью» лицо музыкальное. Въ немъ тогда говорить влюблённость, страсть — звучать энергические порывы сильной и сильно-взволнованной души. — Въ большей части монологовъ и въ сценахъ съ Вагнеромъ, съ народомъ и въ сценахъ съ Мефистофелемъ, докторъ Фаустъ философствуетъ, разсуждаетъ, размышляетъ (даже иногда и съ Гретхенъ) следовательно пѣтию ему не подобаетъ — до лирическаго строя души, до пѣвучести Фаустъ доходитъ только въ очень рѣдкихъ случаяхъ и не иначе какъ *чрезъ* философствование, *чрезъ* умствование, для музыки недоступное, какъ ей недоступна, въ смыслѣ *сценическому*, — неудовлетворенная жажда познаній. (Стремленія Faustовой души, вѣчныя сомнѣнія, которыми она страдаетъ, могутъ до извѣстной степени найти себѣ выраженіе въ симфоническихъ, неопределенныхъ взмахахъ музыкальныхъ силъ. Но *пѣнію на сценѣ* тутъ нечего дѣлать. Въ общемъ результатѣ — Фаустъ значить остается лицомъ болѣе немузыкальнымъ — нежели музыкальнымъ). Третье лицо, т. е. Мефистофеля, мѣгъ бы съ успѣхомъ положить на музыку только одинъ композиторъ, именно тотъ, который призналъ необходимымъ омузыкализовать самыя «злыя» изъ басенъ Крылова. Гётевъ Мефистофель, великодушнѣйшее созданіе «мысли», но эта мысль — отрицанье всего, насмѣшка надъ всѣмъ, и насмѣшка, сатира — холодная, безстрастная.

Ich bin der Geist der stets verneint.

Актёръ, который, играя Мефистофеля, придавалъ бы его рѣчамъ оттѣнокъ злобы, сердитости въ смыслѣ человѣческой злобы, человѣческой сердитости, т. е. перваго «раздраженія» — доказалъ бы только, что онъ ни на волосъ не понялъ Гётевскаго дьявола, самого иронического, холоднаго и равнодушнаго изъ всѣхъ демоновъ, очерченныхъ поэтами. Байроновъ Луциферъ (въ Кайнѣ), Лермонтовскій «Демонъ», во многомъ почти люди, доведенные до гигантскихъ образовъ. Гётевскій дьяволъ только *негативъ* человѣческой психологіи. Скажите на милость: что же тутъ музыкѣ то дѣлать? музыкѣ то, съ ея вѣчною искренностью чувства, съ ея незлобливостью, которая коснувшись даже до злодѣевъ или озаряетъ ихъ своею величавостью, грандиозностью титаническою — или набрасывается на нихъ оттѣнокъ юмора, всетаки нѣсколько смѣгчающей типическую злобу ихъ драматического проявленія. Существенно злые харак-

теры, какъ въ Шекспирѣ Яго,—въ музыкѣ выйдутъ или блѣдны и слабы, или—карикатурно - смѣшны результаты Шекспиромъ вовсе не желаемые. Даже «Вурмъ» и «президентъ» въ Шиллеровой «Kabale und Liebe» лица положительно не музыкальныя. Точно также, напримѣръ, «Кабаниха» въ Грозѣ или «Приживалка» въ Воспитанницѣ.—Какъ же музыкѣ взяться за Гѣтева Мефистофеля, который вѣдь не добродушнѣ же, нежели Яго или Вурмъ. Съ какой стороны музыка можетъ подойти къ этому безстрастному, типически-безличному демону, который и говорить то долженъ *беззвучно*, а не то, чтобы *петь*? Припомните, что въ оперѣ, неимѣющей претензіи ни на Шекспировскую глубину, ни на размахъ Шиллеровской поэзіи, но задуманной просто и вѣрно, а потому поэтически—я говорю о «Фрейшицѣ» Вебера: дьяволъ Саміель вовсе не поетъ, даже и речитативомъ. Нѣсколько словъ, которыя онъ произноситъ, такъ и остаются отрывочными словами съ сопровожденіемъ глухихъ аккордовъ въ оркестрѣ. Это—настоящее дѣло, инстинктивно понятое художникомъ высоко даровитымъ.

И такъ, изъ трехъ главныхъ лицъ драмы, на одно *музыкальное лицо* приходится одно полу-музыкальное и одно анти-музыкальное. Соединеніе для музыкальной драмы невозможное. Переидемъ къ экспозиціи драмы, т. е. къ расположению ея главныхъ сценъ и увидимъ, что невозможность ея омузыкальна еще усиливается. Музыкальное лицо—вовсе не самостоятельно, интересно только по *отношению* къ двумъ другимъ, а не само по себѣ. Фауста и Мефистофеля можно себѣ представить и *безъ* Гретхенъ. (Являются-же они такъ во 2-й части поэмы).—Напротивъ того Гретхенъ немыслима для насы иной, какъ *жертвою* страстности Фауста, подъ вліяніемъ и при пособіи Мефистофеля. Отдѣлить всѣ сцены Гретхенъ и сдѣлать изъ нихъ особую пьесу нѣть никакой возможности. По всѣмъ этимъ доводамъ, Гѣтевъ «Фаустъ» для *музыкальной драмы* въ серьезному, истинномъ смыслѣ слова,—не годится. Остается одно—виѣшняя оболочка Гѣтевой драмы, «la mise en sc ne» его мысли.

И вотъ именно съ этой то стороны, *съ синтезомъ*—Гѣтевъ «Фаустъ» заключаетъ въ себѣ цѣлую бездину «снѣгъ» для композитора.—Чего, чего тутъ нѣть! Философъ-мечтатель въ мрачныхъ думахъ собирается выпить чашу съ ядомъ—вдругъ звонъ колоколовъ къ заутренни Свѣтлого Воскресенія,—дѣтскія воспоминанія взяли верхъ надъ рефлексіей—философъ примиряется съ жизнію. (Безъ отношенія къ предыдущему и послѣдующему—моментъ для музыки превосходный). Далѣе: народное гульбище передъ городскими воротами; горожане, солдаты, чернь, пляски.—Далѣе: сцены вызыванія демоновъ,—сцена съ вѣдьмою,—кутежъ въ Ауербаховскомъ погребѣкъ съ юмористическими пѣснями и ораньемъ во все горло (раздолѣ для комической музыки, которымъ «отчасти» воспользовался Берліозъ).

Всѣ сцены, гдѣ участвуетъ Гретхенъ, такъ и просятся подъ музыку, по музыкальности самого лица. Сцена дуэли съ Валентиномъ, смерть его, шумъ

соседей и т. д.—готовый финал акта! Сцена въ церкви—верхъ музыкально-сценическаго драматизма. Шабашъ вѣдьмъ на Брокенѣ—раздолѣ для всѣхъ возможныхъ музыкальныхъ и фантасмагорическихъ эффектовъ (которыми еще никто не воспользовался какъ слѣдуетъ). Наконецъ — послѣдняя сцена въ тюрьмѣ, готовый текстъ для *дуэта*, съ участіемъ Мефистофеля—въ оркестровыхъ силахъ.

Поле—въ самомъ дѣлѣ слишкомъ заманчивое!

Чтобы отказатьться отъ этихъ соблазновъ, чтобы понять, что при этихъ частностяхъ, хотя бы удавшихся какъ нельзя лучше, *общаю*-то всетаки не получится... за немузыкальностью *главной* идеи,—чтобы понять все это—говорю—надо конечно нѣсколько по серьезнѣ смотрѣть на искусство, нежели какъ смотрѣть на него французскіе оперныхъ дѣлъ мастера. Вотъ отчего и вышло, что въ то время, какъ ни одинъ изъ нѣмецкихъ композиторовъ не рѣшился перекостюмировать Гётева Фауста въ «оперу» (хотя у многихъ страшно руки чесались къ этому дѣлу) нѣкіе французки ММ. Michel Carré et Barbier, безъ дальнѣйшей церемоніи, въ 1859 году изъ Гётевої драмы, съ подмѣсью галиматы собственнаго изобрѣтенія, скропали француз ское оперное «либретто» на пользу небольшой сцены Théâtre lyrique, и компониста Charles Gounod, потерпѣвшаго крушеніе съ нѣсколькими прежними операми. Замѣчательно, что въ тѣ времена этотъ Гуно насили избавился отъ начатаго противъ него иска за профанацию Мольера. Гундъ передѣлалъ въ оперу Мольерову комедію: «Le Médecin malgré lui» и французы, фанатическіе идолопоклонники передъ героями своей литературы, особенно передъ великими писателями великаго вѣка—чрезвычайно сконфужены были такою «дерзостью» музыканта. (Какъ будто это впервые случилось! Въ оперѣ, и притомъ по нѣскольку разъ, передѣливались трагедіи Рассина, Корнеля и Вольтера. Моцартова «Женитьба Фигаро» и Россиниевъ «Севильскій Цирюльникъ» тоже не должны ли считаться профанациями «великаго» Бомарше?!) Напротивъ того теперь, виновный въ величайшемъ посрамленіи геніально-поэтическаго сюжета *германскаго*, Гундъ именно отъ германцевъ-то пользуется за это посрамленіе почетомъ и славою, какъ будто за глубоко-художественное произведеніе! Или ужъ уваженіе и любовь нѣмцевъ къ своему «Фаусту» (Гётевскому) такъ безграницно-велики, что даже слабый намекъ на эту драму, виѣшнее, обезьянское подражаніе ей уже имѣютъ для нѣмцевъ—обаятельную силу? Успѣхъ оперы Гуно въ Парижѣ и Лондонѣ объяснить не трудно. Во первыхъ—успѣхъ этотъ между французами и англичанами вовсе не особенно—громадень. Это далеко еще не Мейерберовскій успѣхъ. Во вторыхъ—для французовъ и англичанъ сюжетъ Гётевої драмы—дѣло интересное, но... чужое. Образы Фауста, Гретхент и Мефистофеля во Франціи и въ Англіи вовсе не сростались съ воображеніемъ и памятью всѣхъ людей, читающихъ книги и посѣщающихъ театры. Между нѣмцами—напротивъ—почти каждая строка Гётева Фауста (изъ 1-й его части) вошла въ пословицу въ томъ родѣ

какъ у нась, напримѣръ, стихи изъ «Горе отъ ума» или изъ басенъ Крылова. Картина мъ, иллюстрація на сюжеты изъ Фауста — счету нѣть! Все это вполнѣ *сроднилось* съ народомъ, по крайней мѣрѣ съ образованными его слоями.

Посмотримъ-же теперь по строже, чѣму именно рукоплещутъ просвѣщенныи германцы въ пресловутой оперѣ *monsieur Гунд*?

Въ нашъ вѣкъ, музыкантъ, созидающій громадную партитуру на совершенно-плохое либретто, уже *этимъ самыи фактамъ* навлекаетъ на себя сильное подозрѣніе въ отсутствіи вкуса, критического смысла, а слѣдовательно, и истиннаго таланта.

Мы видѣли, что *хорошую музыкальную драму* изъ Гётевой драмы «Фаустъ»—создать *невозможно*. Зачѣмъ-же тратить свои силы на канву не-хорошую, безъ-идейную въ общемъ, результатномъ значеніи?—Такъ должно заключать еще не ознакомившись съ кропаньемъ гг. Карро и Барбье. Знакомство-же это—еще не касаясь музыки,—заставить ужаснуться передъ безвкусіемъ Гунд, сочинявшаго музыку на такую безцвѣтную, безхарактерную чепуху!—Внутреннее содержаніе Гётевой драмы, душевный міръ дѣйствующихъ въ ней лицъ, очарование мысли и чувства—гдѣ это все?—всего этого въ жалкомъ французскомъ либретто и въ поминѣ не осталось! Остались не лица, а куклы съ ярлычками на лбу: Фаустъ, Гретхенъ, Мефистофель, Валентинъ, Марта, Вагнеръ, да еще въ добавокъ какой-то сантиментальный студентикъ (съ женскимъ голосомъ) влюбленный въ Гретхенъ и носящий имя... Зибеля, лысаго кутилы въ Ауербаховскомъ погребѣ! Искаженіе драмы въ самомъ расположениіи сценъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ безтолковости и нескладицы.

Не зная наизусть драмы Гёте, догадаться невозможно, *объ чёмъ* плачетъ и вздыхаетъ Гретхенъ въ сценѣ на паперти церковной? Невозможно придумать резона ни для сцены на Блосбергѣ чисто-балетной и вполнѣ безмыслиенной, ни для сцены въ тюрьмѣ, куда Гретхенъ попала Богъ вѣсть *за что*.—Зная-же Гётеву драму, *съектно* станеть тратить хоть секунду времени на прочтеніе такого либретто, которое—для пародіи на Фауста—слишкомъ вяло и скучно,—а за вещь «серъезную» ни въ какомъ случаѣ принять быть не можетъ. Да въ *балетъ* Фаустъ, соч. Перро, несравненно больше и толковости и *сходства* съ Гётевымъ Фаустомъ. Переайдемъ къ музыке.

Опера Гунд пользуется европейскою извѣстностью; дается съ успѣхомъ во Франціи, въ Англіи, въ Германіи, даже въ Италии. Очень естественно, что будеть пользоваться большимъ успѣхомъ и у нась, въ такъ называемомъ большомъ свѣтѣ.

Найдутся (и напились уже!) досужие фельетонисты, которые вмѣнять себѣ въ обязанность восхищаться тутъ каждою сценою, каждою ноткою—войдутъ въ паѳосъ и, чтобы показать, что и мы тоже молъ слѣдуемъ за прогрессомъ въ искусствѣ, отъищутъ въ этой оперѣ и новизну *направленія* (!), и

родственность Вагнеру, съ большей, конечно, *доступностью* мелодического стиля, и глубокость драматизма, и прелесть вокальныхъ и симфоническихъ эффектовъ—однимъ словомъ всѣ возможныя красоты и совершенства мысли, рисунка и колорита. Хвалить — хваленое, восхищаться съ чужого голоса — самое легкое дѣло въ свѣтѣ. Жаль только, что на повѣрку окажется нѣчто не совсѣмъ лестное для тѣхъ, кто взгромоздилъ эту оперу на такой высокій пьедесталь. Музыка Гунда *вполнѣ отвечаетъ...* не гѣтевой драмѣ, а той постыдной либретной стряпнѣ, на которую написана. Тутъ вездѣ неудачная претензія на что-то въ родѣ мысли, что-то въ родѣ рисунка мелодического, что-то въ родѣ контрапунктной фактуры и инструментальныхъ эффектовъ. Въ результатѣ — ложь, безцѣнность и... невыносимая скуча, самая вѣрная печать положительной бездарности. Композиторское дарованіе, неподавленное пошлостью итальянской рутинѣ, всегда высказывается самобытностью, оригинальнымъ поворотомъ мелодіи. Опера Гунд, конечно, не принадлежитъ къ итальянскимъ, но въ ней нѣть ни одной фразы оригинально-мелодической. У Вагнера и у Шумана, для слуха, привыкшаго къ итальянизмамъ, мелодія кажется черезъ-чуръ скрытою, черезъ-чуръ загнанною въ оркестръ и затемненою сложностью гармонической ткани. Въ «soi-disant» музыѣ г. Гунда, мелодія часто очень нахально обнажена отъ гармоническихъ покрововъ, но такъ тоща, такъ суха и ветха, что на образованный слухъ—производить впечатлѣніе отвратительное. Въ большинствѣ случаевъ, Гунд обходится безъ мелодіи вовсе, ни мало не заботясь, впрочемъ, вознаградить ея отсутствіе интересомъ гармоніи или инструментовки. Тамъ-же, где авторъ *позабылся* о мелодичности фразы, особенно въ ея окончаніи, становится только досадно зачѣмъ онъ заботится! Ужь лучше-бы и эти избитыя мелодическія формулы потонули въ безбрежномъ морѣ скучнѣйшей мелопеи, въ сравненіи съ которой какая нибудь «Лукреція Борджіа» Доницетти—манна небесная!

И такое-то исчадіе драматико-музыкальной претензіи бездарного француза привѣтствуется въ Германіи, какъ будто что-нибудь дѣльное! Нѣмцы даже не вспіютъ противъ профанациіи великаго гѣтевскаго созданія. «Фаустъ» г. Гунда съ торжествомъ обходитъ всѣ германскія сцены и во многихъ слояхъ публики затмѣваетъ собой высоко-честные и со всѣхъ сторонъ художественные произведения Рихарда Вагнера!.. Грустно становится при мысли, какъ *медленно* прививается людямъ всякое новое, разумное направленіе въ наукѣ, въ искусствѣ, въ цивилизациі! Около пятнадцати лѣтъ уже какъ Германія ознакомлена съ новымъ поворотомъ, который придалъ дѣльной оперѣ — Вагнеръ, не столько своими умозрѣніями въ изданныхъ имъ брошюрахъ, сколько на самомъ дѣлѣ, наглядными, побѣдоносными фактами въ созданныхъ имъ музикальныхъ драмахъ,— и что-жъ! вся эта реформа, болѣе важная и существенная, нежели была въ свое время реформа, совершенная Глюкомъ, — прошла для Германіи почти безъ послѣдствій, если также Германія теперь

рядомъ съ Тангёйзеромъ и Лоэнгриномъ аплодируетъ «Фаусту» Гуно, да еще ретивѣе аплодируетъ, нежели органическимъ созданіямъ Вагнера!

Поневолѣ повториши за Лабрюйеромъ, что *распознавательная* (т. е. критическая) способность еще рѣже встрѣчается на свѣтѣ, нежели жемчугъ и алмазы!

Понятно, что оперу, которая—по крайнему разумѣнію моему—въ достоинствѣ своемъ занимаетъ середину между «Силой Судьбы» Верди и «Мазепою» барона Фитингофа (съ тою разницей, что и у Верди, и Фитингофа несравненно больше дарованья къ пѣвучей мелодіи), — понятно, говорю, что такую оперу разбирать серьезно, сцена по сценѣ дѣло и утомительное, и совершенно лишнее.

Но, чтобы не упрекнули мою статью за порицанье *этой музыки* «соптомъ», съ плеча,—какъ будто бездоказательно, прослѣдимъ ходъ каждого акта, при чёмъ, кстати будеть сдѣлать вѣсколько замѣтокъ о постановкѣ и обѣ исполненіи.

Передъ поднятіемъ занавѣса не увертира, а довольно длинная прелюдія какого то вялого характера. Покушенія на стиль фугато такъ и остались — неудачными покушеніями. Въ инструментовкѣ рельефную роль тутъ играетъ арфа, но рисунокъ, порученный ей не приводить ни къ какому результату. Вездѣ только намекъ на что то, и въ общемъ—безцвѣтность и скуча даже въ этой небольшой интродукції!

Опера начинается, конечно, сценами въ фаустовой рабочей храминѣ. Единственный чисто музыкальный эффектъ этой экспозиціи въ драмѣ Гёте — перерывъ сцены самоотравленія звономъ колоколовъ—французскими либретистами пропущенъ изъ виду! Мечтанія Фауста — ничего невысказывающія и никаколько не переданныя характеромъ музыки, опять совсѣмъ безцвѣтной — прерываются какимъ то пасторальнымъ хоромъ (!) съ чисто-французской кадрилью мелодіею.

Явленіе Мефистофеля,—ничѣмъ неподготовленное, напоминаетъ подобныя же неожиданности въ балаганныхъ пантомимахъ. Сценическая иллюзія «дьявола» поддерживается только лучемъ красного огня, постоянно слѣдящаго за всѣми движеніями Мефистофеля и иногда озаряющаго его какъ будто отблескомъ адскаго пламени.

Въ музыкѣ тутъ нѣть рельефнаго ровно ничего, кромѣ, нѣсколько-затѣйливо инструментованной, фигурки аккомпанимента во время явленія Фаусту—Маргариты за самопрялкой. Дуэтъ, которымъ оканчивается актъ (!) банальностью своей можетъ перещеголять самая плоскія изъ вердіевскихъ кабалетъ. И такъ—ужь отказавшись положительно отъ требованія характеровъ, глубины и всего прочаго, для *французской* музыканта положительно непостижимаго—спросимъ, однако, чѣмъ же угощаетъ публику monsieur Gounod въ этомъ первомъ актѣ? Что тутъ интереснаго, привлекательнаго, хотя-бы чисто съ музыкальной стороны? Такжѣ убийственная безцвѣтность музыки и во второмъ актѣ,

гдѣ, по случаю народнаго праздника (въ родѣ нашихъ гуляній подъ качелями), можно было бы разгуляться композитору съ талантомъ: Пресловутый вальсъ, расхваленный до небесъ хвалителями этой оперы — вальсъ никакъ не германскій, какъ бы требовалось, а весьма французскій и несравненно болѣе приторный и плоскій, чѣмъ, напр., вальсъ въ 1-мъ актѣ «Жидовки». Отрадное мгновеніе въ этомъ актѣ — единственное отрадное! — появленіе грациозно-дѣвственной въ своей простотѣ — Гретхенъ! Говорится здѣсь, конечно, не о звукахъ, не о пошлой музыкѣ Гуно, а о безподобной исполнительницѣ роли Гретхенъ, г-жѣ Барбо, съумѣвшей создать живое лицо изъ самыхъ безцвѣтныхъ данныхъ. Вдохновилась она, безъ сомнѣнія, помимо партитуры Гуно, самой драмой Гете (въ порядочномъ французскомъ переводе!), да картинами Анри Шеффера и Делароша.

Великая честь отличной артисткѣ, не смотря на безжизненность звуковъ партіи, воплотившей такъ наглядно на сценѣ поэтическій образъ гѣтевской Маргариты. — Для одной г-жи Барбо стоитъ слушать и смотрѣть оперу «Фаустъ», — стоитъ осудить себя — для нѣсколькихъ мгновеній — на трехъ-часовую скучу и злую досаду. Какъ, напримѣръ, не озлиться на вандальскую профанацию гѣтевской мысли, когда въ концѣ 2-го акта гг. французскіе либретисты превращаютъ Мефистофеля въ умнаго шарлатана, а послѣ заставляютъ его трепетать передъ знаменіемъ креста. Въ Гете нѣть и намека на такую сцену, искажающую характеръ Мефистофеля — а то, что было у Гёте отлично-ловкаго для музыки (сцена кутежа въ Ауербаховскомъ погребкѣ) тѣмъ гг. либретисты не воспользовались! О вкусѣ! О просвѣщеніе!

Въ 3-мъ актѣ Гретхенъ почти не оставляетъ сцены; притомъ самый смыслъ драматическихъ задачъ, хотя и сколоченныхъ вмѣстѣ весьма пошло и неловко (для того, чтобы не перемѣнять декорации сада), имѣеть въ себѣ чрезвычайную привлекательность: Гретхенъ за самопралкой, — свиданіе любви съ Фаустомъ! — Для декорационнаго эффекта придумана лунная ночь, превосходно здѣсь поставленная. Химическое освѣщеніе (замѣняющее обыкновенную театральную луну, т. е. кружокъ изъ масляной бумаги) приближается къ натурѣ до полнаго почти обмана глазъ. Это — не декорация, не театръ, а въ самомъ дѣлѣ садъ, озаренный кроткимъ, поэтическимъ сіяніемъ луны! При этомъ — восхитительная Гретхенъ — Барбо, въ своемъ простомъ бѣломъ платьѣ, съ своею ангельски-крутою наружностью — очарование, дѣйствующее на людей нервныхъ, быть можетъ, даже черезъ-чуръ сильно.

Вы замѣчете, конечно, что очарованье-то *помимо* музыки. Въ партитурѣ и въ этомъ актѣ (столько богатомъ для музыки!) опять ровно ничего нѣть, кроме претензій на что-то сентиментальное и вычурно романтическое, во французскомъ вкусѣ! Во всемъ актѣ хочется смотрѣть на сцену, впиваться въ нее глазами, а на музыку столько-же обращать вниманія, какъ въ мелодрамахъ Михайловскаго театра, гдѣ иногда, при особенно-эффектныхъ сценахъ, въ оркестрѣ начинаютъ гомозиться разныя tremolы и пиццикато....

Заграничные журналы расхвалили квартет между Фаустомъ и Гретхенъ, Мартой и Мефистофелемъ. Но и квартетъ до крайности слабъ и рисункомъ, и колоритомъ, и драматизмомъ. Воть и вѣрьте европейскимъ хвалителямъ! — Акть кончается—поцѣлуемъ Фауста и Гретхенъ. Увлекательность положенія, прелесть исполнительницы и чарующая декорація вызываютъ шумные взрывы аплодисментовъ.

Публика въ восторгѣ восклицаетъ: «превосходная опера! Какой талантъ этотъ Гуно!»

Въ четвертомъ актѣ нагромождены всѣ сцены «послѣдствій» любви Гретхенъ вплоть до сцены на шабашѣ вѣдьмъ.

Отъ этой сжатости (къ сожалѣнію существующей и въ драмѣ Гёте, когда она исполняется на театрѣ) совершенно теряется ясность положеній и, следовательно, весь драматический интересъ, столько сильный въ оригиналѣ Гёте. Рельефнаго по музикѣ и въ этомъ актѣ нѣть ничего.

Исключение составляетъ сатирическая пѣсенка Мефистофеля (единственное мѣсто, гдѣ дьяволъ у Гёте дѣлается нѣсколько доступнымъ для музыки). Въ этой насмѣшливой серенадѣ подъ окнами Гретхенъ, Мефистофель и у французскаго музыканта получили довольно интересный оттѣнокъ и самый рисунокъ этой мелодіи не столько пошиль, какъ все прочее.

Злобный смѣхъ удачно выраженъ композиторомъ и удачно передается исполнителемъ, г. Эверарди,—который въ другихъ сценахъ нисколько не возвысился надъ пріемами самого балаганного черта (да и трудно, очень трудно было возвыситься при безцѣнности всей партіи. Одна — Барбо совершила такое чудо!)

Въ числѣ яркихъ нелѣпостей оперы,—шумный военный маршъ (въ два оркестра) по случаю возвращенія солдатъ изъ похода, въ томъ числѣ брата Маргариты, Валентина. Къ чему такой страшный шумъ для происшествія весьма обыкновенного! Къ чему длинный morceau de musique «среди улицы, какъ на парадѣ!» (Въ самой музикѣ марша нѣть, разумѣется, ничего, кромѣ пошлости). — Среди всей оперы, отмѣнно скучной по музикѣ, особенно скучными выдаются: 1) сцена у церковной паперти, т. е. слезы раскаянья Гретхенъ во время богослуженія въ церкви (чудное поле для музыки въ драмѣ Гёте—угрызенія совѣсти, одновременно съ потрясающими звуками реквиема! и тутъ г. Гуно умудрился *ничего* не сдѣлать въ своей партитурѣ) и 2) сцена смерти Валентина.

Вялость этихъ звуковъ, отсутствіе жизненнаго драматизма превышаютъ всякую мѣру! Самые восторженные энтузіасты этого «произведенія» находятъ финалъ IV акта—монотоннымъ и растянутымъ. Что жъ должны тутъ находить мы, не поклонники г. Гуно?

Пятый актъ начинается сценою или вѣрнѣе сказать—декорацію Блоксберга. Шабаша вѣдьмъ нѣть ни въ дѣйствіи, ни въ музикѣ. Это все придумано, кажется, только для полноты списка «эффектовъ» изъ Гётевої драмы.

Видѣніе Гретхенъ Фауста среди шабаша выходитъ очень не рельефно и вся сцена безъ результата. Перемѣна декораціи въ пышный адскій чертогъ приводить только къ весьма обыкновеннымъ балетнымъ танцамъ, во время которыхъ Фаусть (Тамберликъ) поеть нѣчто въ родѣ вакхическихъ строфъ изъ Пророка. Декорація — хороша. Танцы довольно жалки. Музыка...! Въ довершеніе скандала — въ адскомъ чертогѣ поютъ какой-то торжественный гимнъ, весьма—свѣтлого характера. Геніи встрѣчаются въ мысляхъ. — Сцена въ тюрьмѣ, — такъ сильно драматическая, обошлась опять безъ музыкального интереса. Барбо и въ сценѣ сумасшествія—великая артистка. Апоѳеозъ души Гретхенъ, уносимый ангелами на небо—въ здѣшней обстановкѣ не удалась, тогда какъ на берлинской сценѣ это—говорять—чудо изъ чудесъ, въ отношеніи сценическаго эффекта. Но и при неудачности нѣкоторыхъ подробностей, все-таки, постановка оперы этой замѣчательно хороша и роскошна.



Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика *).



ПРЕДИСЛОВІЕ.

ногіе изъ числа слушателей курса, прочтеннаго мною въ мартѣ и апрѣлѣ текущаго года, пожелали, чтобы эти десять лекцій «о современному состояніи музыки, ея науки и ея педагогики» были переданы публикѣ и въ печатномъ видѣ. Исполняю теперь это желаніе съ большою охотою, тѣмъ болѣе, что рядъ статей такого рода будетъ и для читателей, и для меня самого, «подготовкою» для *полного музыкального учебника* (*музикознаніе*, съ технической, исторической и эстетической стороны), который я собираюсь издать, какъ только мнѣ это позволять другія мои занятія на музыкальномъ поприщѣ. Здѣсь-же спѣшу сдѣлать оговорку, что статьи, нынѣ предлагаемыя, будутъ конечно въ сущности держаться довольно близко плана моихъ лекцій, но изложеніе будетъ во многихъ пунктахъ нѣсколько разниться отъ изложенія тѣхъ музыкальныхъ бесѣдъ; письменная обработка вовсе не то, что лекція *устная* и (какъ у меня всегда) импровизированная. Устное слово можетъ и

*) Эпоха 1864 г., №№ 6 и 12.

должно себѣ позволить гораздо больше свободы въ изложеніи, больше отступлений отъ главнаго предмета, больше зигзаговъ въ планѣ, больше мелкихъ, эпизодическихъ подробностей. Отъ статьи, напротивъ, читатель въ правѣ требовать несравненно больше выработанности въ мысли и въ формѣ, больше строгости и сдержанности. Но—да не пугаются читатели—схоластической суности въ этихъ статьяхъ они не найдутъ. Даже многаго, чисто техническаго, по возможности я буду избѣгать, стараясь «паче всего» приблизить музыкальное пониманіе къ пониманію литературному. Именно съ этой стороны мой взглядъ на музыку и ея науку долженъ иногда показаться новъ до дикости; я только утѣшу себя тѣмъ, если и люди, противоположныхъ со мною убѣждений, должны будутъ признать, что въ моемъ сумасшествіи есть метода.

Вѣна, іюнь 1864.

I.

Предварительные понятия и точка зрения.

Въ Германіи, частію также въ Англіи и Франціи, понемногу начинаютъ отдавать справедливость проницательности ума, мѣткости сужденій и приговоровъ, качествамъ—по замѣчаніямъ германскихъ писателей—составляющимъ «особенность» даровитыхъ людей «славянскаго» племени. Къ такому убѣждению пришли европейцы, или начинаютъ приходить, еще не зная почти вовсе русской литературы, съ ея самой важной стороны въ этомъ отношеніи, со стороны—критической. Намъ извѣстны работы и заслуги Лессинговъ, Шлегелей, Гервинусовъ, Штраусовъ, Карляилей; европейцамъ же не извѣстны работы и заслуги Бѣлинскаго и позднѣйшихъ дѣятелей на той-же самой почвѣ и въ томъ-же направленіи. Еслибъ Европа могла или захотѣла узнать русскихъ со стороны ихъ критического таланта и критической дѣятельности, — нѣть сомнѣнія, что выгодное мнѣніе о славянской проницательности и мѣткости укоренилось бы въ цѣломъ свѣтѣ несравненно сильнѣе. Можно сказать съ полною увѣренностью, что, по отношенію къ *критикѣ*, русскіе займутъ самое первое мѣсто, перегонять въ этомъ отношеніи и германцевъ, и англичанъ, ужъ не говоря о французахъ, всегда очень хромающихъ на эту ногу и значительно отсталыхъ во всемъ, где философской смыслъ — главное требованіе. Почему-же думаютъ люди, что въ родной сестрѣ словесности *въ музикѣ*, русскіе никакъ не могутъ жить своимъ умомъ, руководствоваться въ музыкальныхъ дѣлахъ своимъ прирожденнымъ вкусомъ; своимъ смысломъ, своею смѣтливостью и проницательностью? Почему-же до сихъ поръ существуетъ, еще со временъ Петра I и Екатерины II, вкоренившійся предразсудокъ, что русскіе люди музыкальному уму-разуму должны учиться не у знающихъ дѣло русскихъ, а непремѣнно—у иѣмцевъ или у итальянцевъ? И престранная выхо-

дить разноголосица! Въ то время, какъ литературное движение русское на каждомъ шагу развѣвается знамя прогресса, въ пользу *национальности*, высоко-разумно понятой и къ дѣлу примѣненной, — музыкальному пониманію нашему хотятъ положить рутинныя, полуусгнившія преграды и отдаютъ любознательное, даровитое русское юношество на вычку людямъ не русскимъ, лишеннымъ национального чутья, незнающимъ русскихъ способностей, тем-нымъ по части философски-литературного образованія, недоучкамъ даже и съ чисто технической стороны! Не лучше-ли ужь блуждать ощущью, на-угадъ, идти совсѣмъ на-пропалую, на авось, да по собственному крайнему разумѣнію,—нежели выбрать себѣ въ руководители слѣпого? А развѣ тупость и непросвѣщеніе, прикрытыя блестящей наружностью и лоскомъ ложной учености и шарлатанскихъ титуловъ,—не та-же *смѣта* въ дѣлѣ искусства? Школа піитики и риторики, училище стихотворства, разсадникъ будущихъ профессоровъ элаквенціи и пѣть, вродѣ Василія Кирилловича Третьяковскаго,—такое заведеніе въ нашъ вѣкъ, и именно въ Россіи, было-бы явнымъ посмѣшищемъ, умерло-бы въ зародышѣ. На противъ того музыкальная риторика и музыкальная піатика находять у насъ въ Россіи еще бездну поклонниковъ, и учрежденія «для прививанія русскому юношеству музыкальныхъ предразсудковъ» не только не возбуждаютъ смѣха, но принимаются публикою съ довѣріемъ, съ полнымъ респектомъ, какъ будто нѣчто дѣльное и благодѣтельное для Россіи; и самая законная реакція противъ такихъ учрежденій, реакція въ силу истинной пользы дѣла, въ силу здраваго смысла, принимается или за личное негодованіе, или за музыкальное «ультра» и «карбонарство», во вредъ дѣлу! Гдѣ корень этому злу? Гдѣ причина такому вреднѣйшему смѣшенію понятій, идущему такъ явно *въ разладъ* съ движениемъ русскихъ умовъ по другимъ областямъ знаній, съ движениемъ столько утѣшительнымъ? Корень зла, причина всего смѣшения понятій на счетъ музыкальной науки—1) несостоятельность русскихъ въ музыкальныхъ дѣлахъ, вплоть до нашихъ дней, и 2) плохое состояніе музыкальной науки и на западѣ. Первый пунктъ пояснить почти надобности. Ясно, что мы приняли всякаго рода музыку прямо готовую, изъ рукъ въ руки отъ сосѣдей европейцевъ вмѣстѣ съ другими продуктами цивилизациі, съ нѣмецко-французскими модами, винами, театрами. То, что зародилось уже музыкального на русской почвѣ само собою, растительнымъ способомъ, на все время прививанія къ намъ продуктовъ германо-итальянскихъ, оставалось *почти совсѣмъ въ сторонѣ*, и, съ теченiemъ времени, «поросло травой забвенья», такъ что теперь, когда проснулся вкусъ къ настоящей русской старинѣ и къ музикѣ, какъ ко всему остальному,—надо имѣть большую страсть къ музыкальной археологіи, чтобы рыться въ документахъ, «покрытыхъ пльсенью вѣковъ», съ утѣшительною надеждою не найти *почти ничего*, кромѣ самыхъ неясныхъ эмбріоновъ. Но разумѣется и эмбріоны эти имѣютъ для знатоковъ дѣла неоцѣненную важность и ви съ чѣмъ несравнимую прелесть. Изъ этихъ зародышей должна возро-